**Олимпиадное задание по русской литературе**

**для учащихся 5-8 классов**

**Напишите эссе или рецензию по одному из произведений (фрагменту из произведения) уфимских писателей, тексты которых приведены ниже.**

**Основные требования к эссе и рецензии.** Рецензия информирует о произведении, содержит его краткий анализ и оценку. В переводе с латинского «recensio» означает «просмотр, сообщение, оценка, отзыв о чём-либо». Рецензия – это жанр, основу которого составляет отзыв (прежде всего – критический) о произведении художественной литературы. Эссе (из французского «*essai»* означает «попытка, проба, очерк») – литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной [композиции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29). Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения [автора](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80) о прочитанном и не претендует на исчерпывающую оценку.

**Требование к работе учащегося.** Рецензия или эссе на одно из произведений уфимского автора должно носить самостоятельный характер. Тексты работ заимствованные из интернета членами жюри рассматриваться не будут.

**Петр Храмов**

**Фрагменты из романа «Инок»**

**Дом**

Ах, какой это был дом! Он не был похож ни на что виденное мною до четырех лет, а видел я к тому времени хоть и немного, но ведь почти всё – в первый раз. Я говорю «почти», ибо некоторые вещи, виденные мною впервые, возбуждали не удивление, а совершенно особенное чувство таинственной и родственной им сопричастности: словно небеса, речку, внимательный взгляд щенка, листву дерев или материнскую печаль впервые видели мои глаза, но не впервые – моя душа.

А вот дом удивил. Он был весь деревянный (только лестница белокаменная), бревенчатый, с дивно вырезанными орнаментами наличников, карнизов и балкончиков, он был с крутой крышей и флюгером на ней, он был с островерхими ажурными башенками, и весь он как бы стремился к небесам и походил на остановившееся пламя. И был он весь розовый, а там, где облупилась розовая краска, как пепел, мерцало старое, в светло-серых ворсинках дерево.

Ах, какой это был дом! Он менялся: по мере моего взросления в нем проступали то сказочное простодушие хором царя Салтана, то привлекательная чуждость вальтерскоттовских замков, то совестливая и смирная интеллигентность чеховского дома с мезонином. Впервые мы смотрели на этот дом вместе с бабушкой, и я по сей день помню ощущение своей руки в ее большой и мощной ладони. Бабушкины руки меня удивляли: громадные, загорелые и очень крепкие, были они с чрезвычайно ухоженными ногтями – полированными, светло-луночными, имевшими чистый, невинный, почти девичий вид.

Подняв головы, мы обошли дом с трех сторон, и бабушка тихо и медленно сказала: «Здесь мы будем жить». Я опустил голову и не поверил. Мне казалось невероятным, что в таком красивом, таком сказочном доме будут жить такие изгои, как бабушка, мама и я. Я был в замешательстве и, вроде как за поддержкой, повернулся налево: там текла река, а по реке шел лед.

Я впервые в жизни видел реку, тем более ледоход на ней, но не чувствовал ничего диковинного, напротив, всё происходящее казалось мне само собой разумеющимся и совершенно естественным. Диковинное произошло позже, когда река очистилась ото льда и я увидел на ней темно-желтенький пароходик, со страшным напряжением шедший против течения и, как мне показалось, против естества – я даже кулаки сжал, привстал на цыпочки и сморщился, вроде бы помогая. Это напряжение почудилось мне излишним и недостойным: я уже был опытен и уже знал, что нельзя идти против природы – нельзя насильно кормить щенка или кошку, надо ждать. Странно, но детское это ощущение жизнь постепенно превратила в убеждение – непоколебимое и твердое.

А вот на ледоход смотреть было и легко и весело: всё шло натурально, все шло само собой, шурша, посверкивая, уменьшаясь. А надо мной и бабушкой белым, лимонным и нежно-голубым сияли и сияли небеса, а по краям, у горизонта, они сизо туманились, словно бы затихая. Много лет смотрел я на Белую, видел бесчисленное множество ее никогда не повторяющихся состояний, и стала она одной из моих жизненных опор, мерой естества и красоты, символом изменчивости и постоянства.

Такой же постоянной, как река, и изменчивой, как ее состояния, была моя бабушка – русская дворянка, с крепкими мужицкими руками, молчаливая, твердая, светлоглазая, невероятно впечатлительная, до смешного самостоятельная и до странности добрая. Взявшись за руки, мы стояли у вырвавшейся на свободу реки, и по бабушкиному лицу я понял, что она кого-то вспоминает и мысленно с кем-то говорит. Я догадался: с мужем – моим дедушкой. Уже шесть лет (я знал это из разговоров взрослых) дедушка был где-то немыслимо далеко, и неизвестно, был ли, но бабушка верила, что был, и вот сейчас, как я чувствовал, делилась с ним семейными новостями. Сколько же миллионов русских семей могли общаться тогда — шел сорок третий год – только так: остановившимся взором памяти, верностью душ и мучительным нетерпением сердца? Задумавшись, бабушка говорила, бывало, вслух кусочек какого-нибудь стихотворения. Вот и сейчас, глядя на блескучую воду, она сказала, слабенько прищурившись: «И от судеб защиты нет». Мы с бабушкой стояли и смотрели на реку, а лед всё шел и шел, совершенно не печалясь о своей обреченности.

**Школа**

Я подошел к молчаливо оглядчивой стайке мальчиков с такими же, как у меня, крохотными челочками, над которыми возвышалась с охапкой цветов пожилая, худощавая и озабоченная учительница. Над головою ее круглилось облачко, сероватое в центре и ослепительное по краям. Я опустил голову: Анна Дмитриевна показалась мне надменною, и у нее было так много цветов, что я, сообразуясь со справедливостью, решил свой букет отдать кому-нибудь более неимущему. Господь тут же предоставил мне такую возможность: невдалеке потерянно бродила, глядя в землю, маленькая девочка, держа в руке несколько обтрепанных стебельков. Поколебавшись, я к ней подошел и попросту спросил: «Что это у тебя букет драный какой?» Посмотрев на меня исподлобья и сообразив, что я не ехидничаю, девочка подняла голову и сказала просто и почти без горечи: «А я вон от той собаки отбивалась», – и показала рукой, о нет – ручкой в беленькой манжетке – на пегую дворняжку, сидевшую возле турника.

Я отдал девочке свои цветы. Сначала она не хотела их брать, отнекивалась, но, видя тихую мою настойчивость, взяла, отвернувшись с горделивой благодарностью. Помолчали. Девочка спросила, как меня зовут. Я сказал. «А меня – Маша. Я из первого “Г” класса», – добавила она с некоторой чопорностью. В те времена я считал чопорность проявлением тайного юмора и собирался уже хитренько ухмыльнуться, но тут девочку позвали из ее группы: «Миронова, Миронова-а». Маша попятилась, неопределенно покачивая головою, потом быстренько повернулась и убежала, очевидно довольная. Боже мой, если б я знал в то время «Капитанскую дочку», если бы знал, свои цветы я бы отдал маленькой и круглолицей девочке с совершенно особенным чувством, да и вообще бы жизнь моя могла повернуться впоследствии совершенно иначе – «если бы знать, если бы знать». Ведь прозреваем мы не вдруг и прозреваем, бывает, не своими глазами и даже не глазами Пушкина, а тем по крохам собранным опытом пушкинской (а значит, и нашей) души, на осмысление коего уходит порою вся наша, такая коротенькая жизнь...

**Сергей Круль**

**Там, где дом моей матери**

**(главы из книги)**

**Две бабушки**

Жаркий, бесконечно жаркий июльский день, пот крупным градом бежит со лба, за окном надрывно и беспрестанно звенят трамваи, а по комнате разливается густой запах горохового супа, который, не усидев в кастрюле, предательски лезет через край. Вокруг обеденного стола хлопочет, всплескивая поварешкой и возвращая беспокойный горох на место, бабушка Софья. Рядом на стуле сижу я, мне десять лет, и я жду окончания привычной церемонии, чтобы получить положенное – пятнадцать копеек на кино. В «Родине» идет фильм «Горные мстители», а денег у меня нет. Отец уехал в командировку, у мамы не допросишься, значит, остается один вариант – баба Софья. Я знаю, она обязательно даст, даже если это ее последние деньги, и поэтому не волнуюсь.

– Сейчас Сережа, сейчас будем обедать – твой любимый гороховый суп.

– Баба Софа, я не хочу есть: жарко.

– Ну и что же? Есть всё равно надо, как же не есть. Ты чего так сморщился, зуб болит?

По правде сказать, сморщился я от предстоящей трапезы, придумывая на ходу, как бы ее избежать.

– Через полчаса в «Родине» кино начинается, – как бы невзначай сообщаю я.

– Ну и хорошо, ты еще успеешь поесть, – успокаивает меня бабушка.

– Ну, бабушка, не хочу я есть – пить я хочу.

– Ах ты, господи, – и она, бросая всё, спешит на кухню. Я встаю со стула, подхожу к раскрытому окну и с любопытством заглядываю вниз: высота притягивает и пугает меня. Я никак не могу понять, как это получается, что люди, машины, лошади выходят такие маленькие, крошечные, вроде спичечного коробка, а я по-прежнему большой и высокий. Всё двигается, бурлит, перемещается, словно кто-то водит их за собой – прямо как в кукольном театре!

– А вот и вода, – бабушка ласково смотрит на меня, вся светясь от радости, и я через силу, неохотно пью.

– Я пойду, баба Софа, опоздаю.

– Подожди, я денег тебе дам.

Вот оно, счастье – получение заветной монетки в пятнадцать копеек, и, поцеловав бабушку, я кубарем скатываюсь с пятого этажа по старой каменной лестнице и бегу, бегу по шумной улице, наскакивая в спешке на прохожих, бегу туда, где сейчас будут показывать мой любимый фильм, ура!!!

Бабушка Софья была необыкновенно доброй женщиной, хотя ее частенько подводила рассеянность. Казалось, она отдаст всё, что ни попросишь, ей совершенно ничего не было жалко, отсюда быт ее не отличался особой организованностью. Каждый раз, заходя в комнату бабушки, я заставал одну и ту же удивительную картину: вещи и одежда лежали на кровати, стульях, комоде, на столе возвышалась гора немытой посуды, и посреди всего этого бегает, суетится растрепанная хозяйка, в халате на одну–две пуговицы. Завидев меня, она тут же переключала на меня свое внимание: внуки были у нее всегда на первом месте (наверное, как у всякой другой бабушки). У нее рано проявилась близорукость, и, будучи на пенсии, она работала секретарем-машинисткой в Кировском нарсуде. Как-то в пятом классе я тайно отдал ей первые стихи, сгорая от нетерпения поскорее увидеть свои «шедевры» напечатанными. Получив через две недели желанные страницы, я забился в угол и разрыдался: такого количества ошибок не сделал бы и отъявленный двоечник.

Так безрезультатно завершилась моя первая самиздатовская попытка.

Когда с годами вдобавок к слепоте разрослась глухота, Софья Павловна была вынуждена оставить работу. Теперь она приходила к нам почти каждый день, часам к двенадцати (за два часа до ухода мамы на стадион «Труд»), выносила мусорное ведро и в задумчивости садилась на диван – тихая, застенчивая, болезненно-худая, как высохший осенний листок. Я расспрашивал ее о прошлом, она отмахивалась от моих вопросов, и, только когда под праздник мы с Володей брали гитару, она оживала и просила спеть «Землянку». Стихи Суркова, еще не положенные на музыку, ходили из окопа в окоп, переписываясь по множеству раз от руки, и именно они были вложены майором Овчинниковым в последнее, прощальное письмо с фронта, навсегда оставшееся в памяти жены.

Бабушка Софья слушала очень внимательно, восторженно замирая и вскидывая седую голову, наклоняла ее к певцу, чтобы яснее расслышать слова, которые, впрочем, знала наизусть, и на ее слепнущие, белесые глаза понемногу накатывалась одна слеза за другой.

Бабушка Оля, вторая моя бабушка по отцу, была строгой, работящей и набожной женщиной. Она жила возле реки в дощатом бараке у Случевского парка, и два раза в год (на Пасху и на Рождество) мы ходили к ней всей семьей. Крохотный стол в небольшой комнатушке был весь уставлен снедью: тут и пироги с рыбой (кости из которой никогда не вынимались), с луком и яйцом, с творогом, всевозможные салаты, винегреты и неизменный, домашнего приготовления, праздничный кулич. У печки стояло ведро с колодезной водой, которую мы все любили пить, опуская в воду старинный деревянный ковш. Трапеза разделялась на две части: сначала кормили детей, а затем садились за стол взрослые. Однажды, задержавшись, я оказался за одним столом со взрослыми и мне предложили выпить, налили полную рюмку вина – кагора. Я, не долго думая, схватил рюмку и машинально, одним глотком выпил ее, так что сидевшая рядом мама не успела помешать мне. Все засмеялись, а баба Оля серьезно заметила:

– Смотри, Леня, пьет, совсем как твой отец.

Я смутился и выбежал на улицу.

Мне было трудно с бабой Олей: я уважал ее и немного побаивался. Взгляд ее цепких и ласковых глаз смотрел испытующе, и это пугало меня, заставляя быть настороже. С годами наши отношения потеплели, и мы сблизились – баба Оля подолгу и обстоятельно рассказывала о себе, о прожитой жизни. Я слушал ее рассказ, и мне не верилось, как эта сухонькая, сгорбленная, с трудом передвигавшаяся старая женщина могла переломить судьбу и, бежав в Уфу из Елабуги в 1919 году от местных властей, сама устроила свою жизнь: в 28 лет вышла замуж и родила четырех детей, последнего, когда ей было уже 35 лет. Через пять лет мужа не стало, грянули голод, разруха, война, а на плечах малолетние дети, один из которых инвалид, ставший впоследствии художником, – мой отец Леонид Янович Круль.

В середине семидесятых, когда Ольга Кузьминична перестала выходить на улицу и по этой причине уже не могла посещать баню (в бараке, разумеется, не было горячей воды), я по заданию отца брал легковое такси и привозил бабушку к нам, где в большой просторной ванной комнате ее заботливо мыла моя мама. Потом баба Оля долго сидела у нас, пила чай, отдыхала, и к условленному часу, извещая о своем прибытии гудком, снова подъезжало такси, и мы собирались в обратный путь. Как-то в один из таких приездов я обмолвился, что у меня есть пластинки с записями церковной музыки в исполнении знаменитой капеллы под управлением Юрлова. Баба Оля, заинтересовавшись, попросила разрешения послушать. Я включил проигрыватель и вышел, оставив ее одну. Спустя некоторое время, опасаясь, как бы чего не случилось (в комнате было слишком уж тихо), я осторожно открыл дверь и остановился, пораженный увиденным: над проигрывателем, склонив к нему маленькую седую головку, сидела, совершенно не двигаясь, баба Оля, а по комнате разлетались светлые звуки возвышенного песнопения – концерта № 24 Дмитрия Бортнянского.

– Третий раз слушаю: замечательно поют, – со слезами прошептала старушка.

Не умея управляться с проигрывателем, она догадалась переставлять головку звукоснимателя на начало и, не желая меня беспокоить, слушала опять все заново.

Двадцать лет, пока носили ноги, баба Оля пела в хоре Сергиевского собора, и особенное место в ее комнате занимал старый, послевоенного образца, радиоприемник, по которому она всегда слушала Ватикан. Незадолго до смерти она подарила мне нательный крестик своего мужа – поляка Яна Романовича Круля – и Евангелие.

Две жизни, два характера, две несхожих и вместе с тем близких по перенесенным испытаниям судьбы – мои незасыхающие корни. Когда мы с братом приходим к маме, гостим на последнем ее пристанище в Затоне, мы обязательно навещаем бабушек, оставляя на полузаросших могилах знаки внимания и нежности.

**Детский дом**

Одной из достопримечательностей нашего двора, что так удачно прикрыт от любопытных посторонних глаз высоким желтым пятиэтажным домом 32 по улице Маркса, была длинная, нескончаемая гряда сараев и гаражей, по чьим неровным и кое-где прохудившимся крышам мы так любили бегать ребятней в детстве. Владельцы этих построек гоняли нас, как могли, но разве за ребятишками уследишь! Среди бойких и задиристых дворовых мальчишек я не отличался ни ловкостью, ни тем более физической силой, но старался всё же не отставать, силился, как мог, и маяться мне приходилось чаще других. В один из таких моментов, когда, запыхавшись, на заплетающихся от усталости ногах пытаясь в который раз догнать безнадежно убежавших вперед ребят, я вдруг запнулся об выступившую вперед доску и упал, разбив колено и разодрав новые, только что купленные штаны. Было больно и очень обидно, из ссадины текла струйкой кровь, но плакать было нельзя – засмеют! – и я присел на корточки, делая вид, что отдыхаю, хотя эта беготня мне давно уже надоела. Внимание мое привлек соседний двор. Я знал, что там детдом, но слово это всегда связывалось для меня с обычным детским садом, куда мамы водят своих детишек и оставляют, пока заняты на работе. Сам я в детский сад не ходил, мама смотрела за мной до школы, но смутное представление об этом всё же имел. Поэтому детдом не возбуждал во мне какого-то особого беспокойства или любопытства. Сейчас же, присмотревшись, я заметил некоторые странности: на всём, что находилось в соседнем дворе, яркой краской были сделаны крупные надписи. Меня это удивило и насторожило: ну зачем, скажите, на детской скамеечке писать «скамья», на домике – «дом», на ограде – «забор»? Это было непонятно, и мне поскорее захотелось узнать, в чем тут дело. Подсказка пришла сама собой. Во дворе послышался шум, хлопнула дверь, и группа детей ровным, аккуратным строем вышла и тихо расположилась на детской ухоженной площадке. Они играли молча, не ссорясь и не переговариваясь между собой, и во всём этом была какая-то неправда. Мне стало не по себе, и, чтобы отогнать закравшийся в душу страх, я начал громко говорить с собою и даже хлопнул раза два в ладоши. Вдруг один из них, коротко остриженный (кажется, они все были пострижены под полубокс), болезненного вида мальчик поднял голову и, увидев меня, бросил свое занятие, и подошел к высокому забору, разделявшему наши дворы. Возникла долгая, напряженная пауза. Я спросил, как его зовут, сколько ему лет, но он не отвечал и только неподвижно, не отрывая взгляда, смотрел на меня. Лицо его изображало мучительную попытку понять, что от него требуют, наконец, исказившись в гримасе, оно задергалось, и мальчик что-то радостно и невнятно промычал. Я вскрикнул от ужаса, всё это время я следил за пареньком, ожидая, что последует дальше, словно завороженный и не в силах сойти с места, и опрометью кинулся бежать домой.

Так состоялось мое знакомство с глухонемыми детдомовцами, жившими по соседству с нашим двором.

После этого случая я опасался подходить к забору и, если бегал с ребятами по крышам, старался не глядеть в их сторону. Однако в душе моей происходила незаметная работа. Я уже знал, что на свете есть инвалиды (однажды я видел безногого, сидящего на сколоченных крест-накрест досках на колесиках и передвигающегося с помощью рук – он был одет в какое-то тряпье и был грязен и космат), знал, что существует смерть и побаивался ее, хотя и не понимал, что это такое, но всё равно долго не засыпал по ночам, со страхом думая, что засну и больше не проснусь, но с глухонемыми детьми я прежде не сталкивался.

Как-то мы с ребятами играли в футбол и сильно пущенный мяч, отскочив от трансформаторной будки, частенько служившей нам воротами, залетел на территорию детдома. Меня, как младшего, послали за мячом, и я, подбежав к забору, к тому месту, откуда была вынута одна доска, дальше не пошел и громко прокричал:

– Мяч, мяч подайте!

– Чего ты кричишь, они же немые! – рассмеялись мне в спину ребята. Увлеченный игрой, я ничего не слышал.

– Ну, вы что, не слышите: мяч, мяч! – и показал рукой, что нужно сделать. Видимо, детдомовцы увидели меня, потому что один из мальчиков обернулся и удивленно разглядывал воздушные знаки, которые я усиленно чертил рукой, пытаясь объяснить, что мне от них нужно. Наконец, он сделал неуверенный шаг по направлению к мячу, лежавшему от него в трех метрах; я радостно вскрикнул, замахал руками, и мальчик, словно что-то поняв, подошел к мячу и, заулыбавшись, взял его в руки.

– Теперь кинь его, дай мне, скорей, – попросил я. Мальчик стоял, не двигаясь, с застывшей и однообразной улыбкой на лице.

– Чего ты там возишься, давно бы сам сходил! – донеслось с нашего двора.

– Да подождите вы, не видите – с немыми разговариваю! – отмахнулся я и продолжил свое общение с детдомовцем, который уже шел мне навстречу.

– Ну вот, молодец, хороший, всё понял. Спасибо! – поблагодарил я, забрал мяч и хотел было уйти, но не смог, потому что на меня в упор, неподвижно, тупо и внимательно смотрели черные влажные глаза, ожидая, видимо, от меня иной благодарности. Так порою собака рабски-ласково смотрит на хозяина и униженно виляет хвостом, ожидая от него подачки за правильно выполненное поручение. И мне вдруг стало так жалко детдомовца, так жалко, что душа моя обнажилась и задрожала, лишившись привычной защитной оболочки, стало стыдно и больно, но что я мог сделать для него, сделавшего мне шаг навстречу из своего далекого, чужого и беззвучного мира? С собой у меня не было ничего, что могло бы обрадовать мальчика, и я, протянув руку, просто погладил его по волосам. Выражение его лица вмиг изменилось, черты разгладились, помягчели, весь он как бы стал добрее и человечнее, и на мгновение мне показалось, что предо мною обычный мальчик, такой же, как и мы все.

– Серега, ну долго ты там? – окликнули меня со двора, и я, взволнованный, побежал к своим.

Больше я не боялся детдомовцев, их странного и необычного поведения, привык к ним и, когда встречал на улице колонну молчаливых детей в одинаково серых и застиранных костюмчиках, не сторонился, а напротив, старался разглядеть их хмурые и задумчивые лица, найти в них хотя бы черточку похожести на нас, и, если мне это удавалось, я радовался, ощущая себя частицей необъятного в своем разнообразии мира, в котором мы все обречены жить.

**Моя улица**

Никогда раньше я не стремился так домой, как тем летом в августе 71-ого, когда возвращался в Уфу из студенческого стройотряда после первого своего длительного отсутствия в городе. Я не узнавал родных мест и, пытаясь найти объяснение чувству восхищения и новизны, овладевшему вдруг мной, ревниво и беспокойно вглядывался по сторонам. Нет, ничего не изменилось, слава Богу, всё по-старому. Железнодорожный вокзал до сих пор не отреставрирован и выглядит довольно жалко, хотя и веет какой-то особенной, угасающей старинной красотой. Что и говорить: старое здание, отстроено еще в прошлом веке и стоит со дня пуска железной дороги вот уже восемьдесят лет. И привокзальная площадь, запруженная автомобилями, автобусами, людьми, захламлена и неуютна; кажется, она уже мала растущей столице.

Автобус, пыхтя и отдуваясь, пересек трамвайные пути и медленно вполз на извилистый дорожный спуск, с которого начинается знакомство с городом для всякого прибывающего в него поездом. Мимо неспешно проплывают утопающие в пыльной и буйно разросшейся, неухоженной зелени одноэтажные кособокие домишки, там и тут прилепившиеся по крутым склонам холма, несколько минут – и вот я уже наверху, возле любимого всей уфимской детворой парка Якутова, зазывно гудящего радостным гудком детского паровоза. Сердце запрыгало в груди от волнения – быстрее, быстрее! – последний шумный перекресток – и вот он, уже виден, мой дом, пятиэтажный желтый красавец, кокетливо укрывшийся в развесистой тени палисадника. Боже мой, как я соскучился! Бросаюсь в раскрытые двери автобуса и, схватив дорожную сумку, стремглав перебегаю полупустую улицу. Протискиваюсь по привычке в узкий проем чугунной оградки, неизвестно кем и когда проделанный (кажется, он существует всегда), и влетаю в четвертый подъезд, звоню, не переставая, пальцы словно прилипли к звонку. Наконец, дверь открывается и на пороге улыбающаяся мама, в мокром цветастом халате, стыдливо прячет мыльные руки, поспешно обтирая их о край клеенчатого передника. Сумка валится у меня из рук, и я падаю в родные объятия. Здравствуй, моя обитель, пристанище дум и печалей, моя надежда и оплот всех моих начинаний! В квартире всё по-прежнему: отец в командировке, Володя на улице, мама стирает, о чем говорят повсюду высящиеся горы чистого и еще не глаженного белья. Отдаю маме покупки, заработанные деньги (они, как всегда, кстати) и, наскоро перекусив, бегу на улицу, тем более что погода стоит отличная – тихая, спокойная, для августа необычайно теплая.

Вот и всё, я дома, в своем городе, на своей улице, носящей имя немецкого революционера Карла Маркса, или попросту Карлухе, как мы называли ее между собой. Каждый дом, каждый камень, каждый поворот знакомы мне с детства, я знаю их наощупь, вслепую, и, где бы я ни был, меня неудержимо тянет сюда, ибо давно уже улица стала частицей меня самого. Я люблю эту улицу, мне она кажется самой привлекательной и старинной, так же, как и мой дом всегда казался мне самым высоким домом в городе. Сколько раз я загорал на его щедрой и гостеприимной крыше, готовясь к школьным экзаменам, и вся Уфа была у меня как на ладони: так далеко и необозримо просматривались ее окрестности. Не знаю, почему, но мне, например, жалко, что после того, как через дорогу в один миг выросла и вознеслась, гордо красуясь в воздухе, новая четырнадцатиэтажка, старый дом как-то поник и пристыженно замолчал, видимо, чувствуя, что время его уходит.

Да, годы многое меняют, меняемся и мы вместе с ними, но что-то в душе остается прежним и неизменным, как неизменна любовь к родному городу.

Облик улицы начал вырисовываться в начале XIX века, когда в 1800 году на высоком берегу реки Белой, на пустыре, было построено крепкое, добротное здание духовной семинарии и улица получила свое первое название – Семинарская. Небольшая, в несколько десятков дворов, она протянулась до Кузнецкой улицы, где стояли первые городские кузницы (ныне улица Чернышевского). Приезд в Уфу в 1824 году императора Александра I, помимо всего прочего, имел для улицы неоценимое значение и открыл дальнейшие перспективы ее роста. По Высочайшему соизволению, неподалеку от городского острога, на возвышении была возведена церковь имени Александра Невского, которая буквально преобразила прежде тихую, забитую улочку, получившую с тех пор гордое имя Александровской. Высокая, строгая, выполненная в классическом архитектурном стиле, новая церковь сразу полюбилась горожанам и имела усердный и немалочисленный приход (в 1886 году он насчитывал около двух тысяч верующих при общем населении в 26976 человек, как то отмечает секретарь уфимского статистического комитета Н. А. Гурвич в записке к трехсотлетию города). Когда смотришь на прекрасную фотографию Aполлония Зираха, где благолепная церковь стоит в окружении двух равновысоких зданий (ныне казармы ШМАСа – школы младших авиационных специалистов, вид со стороны улицы Гоголя), невольно на ум приходит сравнение со знаменитой улицей Росси в Петербурге.

Александровская церковь, в позднее время обнесенная ажурной металлической решеткой, была подлинным украшением улицы, и с любой точки города можно было видеть ее характерную золоченую маковку с крестом, притягивавшую к себе всякий посторонний взор. Не в последнюю очередь благодаря этому обстоятельству улица стала вскоре бурно застраиваться двух- и трехэтажными каменными домами с особняками, среди которых дожили до наших дней, не утратив прежнего обаяния, дом купца Костерина на углу Голубиной (Пушкинской), Большая Сибирская гостиница (Дом офицеров), магазин Каримова и Шамгулова (ЦУМ), особняк Поносовой-Молло (ныне Академия наук РБ).

Окончательно судьба улицы решилась при строительстве железной дороги Самара – Златоуст, пущенной в действие в 1888 году, и, таким образом, пройдя рядом с Солдатским озером, по соседству с которым был устроен парк народной трезвости (ныне парк Якутова), и соединившись с Казачьей дорогой (по всей видимости, это бульвар Ибрагимова), Александровская улица уперлась в железнодорожный вокзал, став одной из главных путевых магистралей города.

Революция не пощадила наш город, ворвавшись в его спокойный и размеренный быт хриплыми, отрывистыми гудками паровозов, красными полотнищами и пьяными толпами бесчинствующих людей. Первыми пострадали церкви и мечети. Не Бог весть каким была Уфа губернским городом, но жилось в нем привольно и ремесленному, и фабричному люду, и приказчикам, и торговцам, и башкирам, и русским. Все жили по-разному: кто худо-бедно, кто побогаче, но все желали добра родному Отечеству и не помышляли о злом, покуда не пришла к власти кучка отщепенцев, вооруженных маниакальной идеей, и не озлобила растерявшийся народ, обманом, растлением и угрозами перетянув его на свою сторону.

Из имевшихся в городе более двадцати культовых сооружений остались в целости соборная мечеть и несколько второстепенных православных церквей (последней в 1956 году была уничтожена самая древняя церковь – Троицкая, которую можно было с полным основанием назвать прародительницей города, ибо построена была еще в 1579 году). Александровская церковь не стала исключением. Отец рассказывал мне, как в 40-ые годы на месте церкви, в стенах которой был размещен механический завод, не раз возникали пожары: горели наспех возведенные деревянные перекрытия, и тяжелые, привезенные издалека станки с грохотом и воем летели с высоты десяти-пятнадцати метров, пугая окрестных жителей. – Вот оно, приспело, наказание Господне! – кричал возбужденно и неистово молящийся люд и, охваченный праведным гневом, радовался, посылая проклятья безбожникам. С тех пор завод получил прозвище «горелый», которое прочно прилепилось к нему, так что никто и не вспоминал, чем в действительности на нем занимались.

И город начал понемногу терять, забывать себя, свои улицы, дома, переулки, и жизнь, которая когда-то неспешно и основательно текла в его жилах, стала останавливаться, пропадать и вскоре исчезла из виду, канула в небытие, сменившись новой, бурной и мутной жизнью, где верх захватили совсем другие люди, перекати-поле, оторвавшиеся от культурных корней своего народа и вообразившие, что им всё позволено. Обезобразив лицо города и разрушив всё, что можно было разрушить, они принялись за память. Десятки уфимских улиц, парков, садов враз были переименованы, и на карте города запестрели имена и клички новых хозяев жизни. Александровской улице досталась участь носить имя немецкого борца за свободу угнетенных народов, жившего в роскоши и довольстве, но нисколько этим не стеснявшегося, толстяка с широченной бородой – Карла Маркса.

Ничего этого еще не зная, я бродил по улице, знакомясь с ее переулками и дворами, вдыхал аромат старинных домов и особняков и поражался ее удивительному уюту и тихой, неброской красоте, которая, казалось, поселилась тут навсегда. Вот дом на углу Революционной (б. Богородской). Крепкий, высокий, пятиэтажный, крашенный в желтую краску, в одном из подъездов которого была устроена детская библиотека. Помню, как я впервые очутился в ее просторном хранилище, сплошь уставленном высокими, до потолка, стеллажами с бесчисленными рядами книг. Мне разрешили пройти, и восхищенный взор долго не мог оторваться от сочинений Фенимора Купера – шесть зеленых книг, украшенных по корешку растительным орнаментом. Я выбрал одну из них, кажется, это был «Следопыт», и направился к выходу. Узнав, что мне нет семи лет и что я не хожу в школу, библиотекарша категорически отказалась выдать книгу: «Дошкольникам книг не выдаем!» Горю моему не было предела. Как же так – я ведь умею читать! В слезах я побежал просить старшего брата Володю, который уже учился в школе и наверняка имел право быть записанным в библиотеку. В то лето я буквально бредил приключениями, читал книги запоем, проглатывая их одну за другой, по целым дням не выходя на улицу. Когда же весь Купер был прочитан, как бы в продолжение чтения, я написал свой рассказ, вычерчивая левой рукой первые свои печатные буквы и связывая их в слова.

Вот кинотеатр повторного фильма, известный еще под именем Дома крестьянина. Какие только фильмы не показывали в нем: от блестящего Чаплина и «Неуловимых мстителей» в самом первом, немом варианте до итальянского «Ромео и Джульетты» с музыкой Нино Рота. Это был самый доступный в округе кинозал (в любое время десять копеек), до которого всегда можно было добежать, выскочив из дома за пять минут до начала сеанса. Суровая билетерша, из последних сил удерживая осаду и отбиваясь от неугомонных ребятишек, в конце концов теряла терпение и, потушив свет, под титры, мелькавшие на полотняном экране, пропускала в зал всех желающих. Натыкаясь в темноте на деревянные кресла, мы с шумом разбегались, оккупируя оставшиеся свободные места и вызывая недовольство солидной публики. Через мгновение все затихало, успокаивалось и зал, позабыв обо всем и сливаясь в едином порыве, устремлял свои взоры туда, где происходило волшебство. Разве можно забыть эти минуты бесконечного счастья! Конечно, небольшому, почти домашнему залу на восемьдесят мест трудно было соперничать с шикарным дворцом «Родина», имевшим просторное фойе, буфет, уютную комнату для отдыха и три кинозала (два больших – синий и красный – и один поменьше – зеленый), где всегда демонстрировались первыми новые зарубежные киноленты. Но что-то дрогнуло, пошатнулось в душе, когда кинотеатр повторного фильма закрыли, переоборудовав под модное и совсем недолго просуществовавшее кафе.

А напротив нашего дома неприступно и извилисто тянулась высокая чугунная ограда, скрывавшая от нас другую, неизвестную жизнь, где серо и однообразно тянулись нелегкие солдатские будни. Молоденькие, розовощекие солдатики в мешковатой, неуклюже сидящей, новенькой форме пробирались к ограде вдохнуть глоток свободного воздуха и, подзывая к себе случайных прохожих, упрашивали сбегать их за куревом и хлебом. Нередко возле ограды можно было видеть бойких девушек, оживленно разговаривающих о чем-то с солдатами, на усталых лицах которых в те минуты появлялись совсем детские, наивные улыбки. По праздникам открывались главные ворота и оттуда под бодрые звуки гремящего духового оркестра, чеканя ровный шаг, появлялись подтянутые колонны и уверенным строем шествовали по улице, останавливая движение машин и вызывая непреходящую зависть мальчишек.

Рядом с казармами, в глубине улицы, находилось стрельбище, куда частенько бегала дворовая ребятня подбирать использованные гильзы. Этого делать не разрешалось, и требовалась определенная сноровка и дерзость, чтобы перемахнуть через высоченный забор, собрать разбросанные в беспорядке гильзы и тут же в один миг вернуться обратно, удирая от возмущенного охранника. Я не участвовал в подобных забавах, так как наверняка бы попался по своей неповоротливости, но мне было интересно, и я ходил наблюдать за всем этим издалека, надеясь, что и мне что-нибудь перепадет. Мне нравились гильзы: маленькие, блестящие, они притягивали к себе существованием какой-то особой тайны. Я любил играть с ними в своем углу по вечерам, в тишине, выстраивая из гильз шеренгу солдатиков и сбивая их катящимся стальным шариком.

Всё мое детство было пропитано разными, непохожими друг на друга, тайнами. Такова, видимо, была особенность моего восприятия жизни, которую я не торопился понять и разгадать сразу, с одного захода, оставляя многое на потом и продлевая сладкие мгновения неведения. Я окончил школу, поступил в авиационный институт, хотя никогда не увлекался техникой, закончил и его, женился, переехал жить в Черниковку, но первой и единственной родиной для меня навсегда осталась Александровская улица, куда меня тянули воспоминания. Только здесь, на этой улице, я чувствовал себя спокойно и уверенно, и, пока она существует, жив и я, и мне есть куда прийти, посидеть с братом за нехитрой беседой и, глядя через кухонное окно, еще раз посмотреть во двор, где шумит посаженная при нас теперь уже окрепшая и высокая береза, и вспомнить всё, чем жили мы когда-то тридцать лет назад.

**Камиль Зиганшин**

**Фрагменты из романа «Золото Алдана»**

**Лютый**

Лето выдалось знойным. Особенно томил июль. Алая земляника, разогретая солнцем, источала аромат, растекавшийся по всему лесу. Ласковый ветерок едва шевелил сонные от жары вершины кедров. Исполнив все родительские поручения, Корней скользящей рысцой побежал к восточному стыку хребтов на каскад водопадов искупаться в бурливой воде. Хотя до него было верст девять, легкий на ногу парнишка одолел путь всего за час с небольшим.

Открыл он это место давно, уж лет пять прошло. И влекло его к нему не столько стремление искупаться (было много удобных мест и ближе), сколько желание еще раз полюбоваться на редкое по красоте зрелище череды белопенных сливов.

Уже за две версты от них слышался волнующий сердце гул. По мере приближения он нарастал, и вскоре воздух начинал буквально вибрировать от утробного рева падающей в каменные котлы воды. Сквозь деревья проглядывался крутой склон, ступенями спускавшийся во Впадину. По ним и низвергалась с заснеженных вершин речка Глухоманка.

Над самым высоким, четвертым по счету уступом, к которому и направлялся Корней, всегда висели завесы водяной пыли. В солнечные дни в них трепетала живая многоцветная радуга. Верхние пласты более высокого, противостоящего Корнею берега были сплошь утыканы круглыми дырочками стрижиных гнезд. Сами птицы стремительно носились в воздухе, охотясь за насекомыми. Из-за рева воды их стрекочущих криков не было слышно, отчего казалось, что это и не птицы вовсе, а черные молнии, разрезающие радужную арку на бесчисленные ломтики.

Низкий каменистый берег, на котором стоял Корней, никогда не просыхал. Налетавшие порывы ветра то и дело орошали его волнами мороси, от которой прозрачнокрылые стрекозы, висевшие над травой, испуганно вздрагивали и отлетали на безопасное расстояние.

Скинув одежду, Корней нырнул в прозрачную воду с открытыми глазами и, соперничая со стайкой пеструшек, поплыл к следующему сливу. Саженей за десять до него вынырнул и взобрался на теплый плоский камень. Лег на его шершавую макушку и, не слыша ничего, кроме утробного гула водопадов, бездумно наблюдал за хариусами, крутившимися в яме за валуном.

Возвращаясь по тропе в скит, Корней чуть было не наступил на что-то светлое, пушистое. Отдернув ногу, он увидел в траве маленького рысенка. Тот вздыбил шерстку и устрашающе зашипел. Мамаша лежала поодаль, в трёх шагах.

Парнишку удивило то, что она не только не бросилась на защиту детеныша, но даже не подняла головы. Такое безразличие было более чем странным. Приглядевшись, Корней понял, в чем дело: рысь была мертва. «Что же делать с котенком? Пропадет ведь! Может, еще второй где затаился?»

Скитник пошарил в траве, но никого больше не обнаружил. Протянул руку к малышу – тот потешно фыркнул и вонзил острые, как иглы, зубки в палец.

– Ишь ты, какой лютый!

Прижатый теплой ладонью к груди, пушистый комочек, пахнущий молоком и травой, поняв, что его уносят от матери, поначалу отчаянно пищал, но ласковые поглаживания по спине постепенно его успокоили.

Вид симпатичного усатика привел сестру Любашу и братишек в неописуемый восторг. Они еще долго играли бы с ним, но малыша следовало покормить. Дети, не долго думая, подложили рысенка к недавно ощенившейся Чернушке в тот момент, когда та, облепленная потомством, блаженно дремала. Полуслепые щенята, приняв чужака за брата, и не протестовали. Котенок быстро освоился в новой семье и даже сердился, если кто пытался оттеснить его от полюбившегося соска.

Теперь, когда у детей выпадало свободное от работ и молитв время, они бежали на поветь[[1]](#footnote-1)\* позабавиться потешным малышом. Особенно любила играть с Лютиком Любаша.

Поначалу поведение котенка мало чем отличалось от поведения молочных братьев, но к осени у него все явственней стали проявляться повадки дикой кошки.

Маленький разбойник частенько затаивался на крыше сарая или на нижней ветке дерева и спрыгивал на спину ничего не подозревавшего «брата», пропарывая порой ему шкуру до мяса. Бедные собачата стали ходить по двору с опаской, то и дело нервно поглядывая вверх.

За домом, под навесом, на жердях все лето вялились на ветру разрезанные на пласты вдоль хребта хариусы и пеструшки. Как-то неугомонная сорока, усевшись на конек крыши, воровато заозиралась по сторонам. И когда убедилась, что во дворе никого нет, слетела на конец жерди, потом, кося глазами, вприпрыжку, подергивая в такт длинным хвостом, бочком приблизилась к аппетитно пахнущим связкам. Вытянула шею – далеко! Скакнула еще раз, и в этот миг затаившийся Лютый совершил стремительный прыжок – воришка даже не успела взмахнуть крыльями. Кот слегка сжал челюсти и удовлетворенно выплюнул пакостницу.

В конце февраля, в один из тех первых дней, когда явно чувствуется, что весна уже не за горами, Корней не обнаружил Лютого на подворье. Поначалу никто не придал этому значения, полагая, что тот, как всегда, где-то затаился. Но кот не объявился ни на второй, ни на третий день. Мать успокаивала детей:

– Лютый не забыл и не предал вас. Просто люди живут среди людей, а звери – среди зверей. Лютый тоже хочет жить среди своих. Его дом в тайге.

\*\*\*

Молодая рысь, цепляясь острыми когтями, взобралась на склонившуюся над заячьей тропой лесину и распласталась на ней неприметным, благодаря пепельному с бурыми и рыжими отметинами окрасу, наростом. Увидев скачущего по тропе косого, Лютый напрягся, точно натянутый лук; прикрыл глаза: их блеск мог выдать его. Однако бывалый заяц в последний миг все же распознал затаившегося хищника и пулей метнулся в сторону. Силясь в отчаянном прыжке достать косого, кот влетел округлой головой в развилку молодой березы, да так неудачно, что в итоге его шея оказалась заклиненной в ней. Попытки развести упругую рогатину лапами лишь усугубили положение: съехав под тяжестью тела еще глубже, шея уперлась в основание вилки. Горло сдавило так, что зверь, извиваясь, захрипел от удушья.

По воле Божьей, Корней в это время собирал неподалеку березовый гриб чагу[[2]](#footnote-2)\*. Привлеченный странными звуками, он осторожно подкрался и увидел дергавшегося на березе Лютого. Кот, хрипя от удушья, из последних сил натуженно всасывал воздух. Выхватив из-за пояса топор, парнишка ловко подсек более тонкую ветвь развилки и, оттянув ее, вынул зверя из неожиданной ловушки.

Чуть живой зверь, лихорадочно дыша, распластался на земле, не сводя со спасителя полные благодарности желтые, с черными прорезями глаза. Корней присел на корточки рядом и погладил друга по пепельной спине, ласково попрекая:

– Вот видишь, ушел от нас и чуть не погиб. А так бы жил, не зная забот.

Переведя дух, Лютый поднялся и, пытаясь выразить свою признательность, принялся, громко мурлыча, тереться о ноги спасителя.

– Ну вот, слава Богу, очухался. Пойдем, мне еще надобно собрать чаги для настоев.

Кот согласно завилял хвостом-обрубком и побрел рядом. Когда котомка доверху наполнилась черными бугристыми кусками лекарственного гриба, Корней повернул к дому. Лютый проводил его до самого крыльца, но в скиту не остался, ушел в лес.

Через несколько дней они вновь свиделись. Кот приветственно мякнул, и Корнею показалось, что Лютый в этот раз намеренно поджидал его у тропы.

С тех пор они стали видеться довольно часто. Скитник даже приучил рысь являться на свист. При встрече он старался побаловать приятеля свежениной, кормя прямо с ладони. Лютый, даже если был сыт, никогда не отказывался. Перед тем как взять угощение, он, басовито мурлыча, обязательно, в знак благодарности, терся щекой о руку и только после этого начинал есть.

Кот оказался не только преданным другом, но и внимательным слушателем. Когда Корней рассказывал ему про новости в скиту, о сестре Любаше, о младших братишках, скитских друзьях, Лютый, подняв голову с ушами-кисточками, сосредоточенно внимал, правда, когда слушать надоедало, вставал и толкал лобастой головой приятеля: мол, хватит болтать, пойдем погуляем.

**Снежок**

Вечно угрюмый волк Бирюк процеживал воздух носом. Густо пахло прелью, разомлевшей хвоей, дурманяще кадил багульник. И вдруг сквозь этот густой дух в ноздри ударил самый желанный. А может, это только почудилось с голода? Но запах становился все явственней. Волк присел. Сосредоточившись, он так глубоко вобрал в себя воздух, что шкура плотно обтянула ребра. Вожделенный запах, перебивая все остальные, надолго застрял в носу. Теперь волк мог точно определить, откуда он исходит. Припадая к земле, осторожно обходя завалы, лужи талой воды и сучья, зверь шел на запах.

Лосиха, покормив теленка, два дня назад явившегося на свет, дремала, а сытый несмышленыш затаился неподалеку в сухой траве между кустов.

Бирюк подкрался совсем близко. Он уже отчетливо, до волоска, видел гладкий лосиный бок. Поджав под себя задние лапы и напружинив передние, волк приготовился к прыжку. Он даже не волновался: добыча была верной, но мамаша почувствовала неладное и, тревожась за теленка, подняла голову. В этот миг на нее обрушился тяжелый серый ком: клыкастая пасть мертвой хваткой вцепилась в горло.

Захлебываясь кровью, несчастная, стремясь отвести угрозу от детеныша, поднялась и, волоча вгрызавшегося волка, побрела в чащу, стеная, как человек. Сумев сделать несколько десятков шагов, она упала на колени, повалилась боком на землю. Волк, рыча от возбуждения, всё глубже зарывался мордой в шею, пульсирующую горячей кровью...

Насытившись, хищник взобрался на скалистый утес, где улегся в затишке, освещенном лучами солнца, поблаженствовать.

– Жизнь прекрасна, – сказал бы серый, будь он человеком.

На остатки лосихи, местонахождение которой разглашалось безостановочным треском сороки «сколько мяса! сколько мяса!», тем временем набрел Лютый. Он, конечно, не преминул полакомиться на дармовщину свежениной и, желая поделиться с другом найденным богатством, в тот же день привел к мясу Корнея.

Обследовав место трагедии, парнишка сразу понял, что здесь поработал серый разбойник. Саженях в десяти в кустах кто-то шевельнулся. Раздвинув ветки, скитник обомлел: в траве лежал лосенок, рядом сидел Лютый. Все телята, виденные им прежде, были буровато-коричневые. Этот же имел совершенно иной окрас: его шерстка была белая, как снег.

– Какой ты у меня умница, – похвалил паренек друга, – смякитил, что дите без матери пропадет, меня позвал. Неужто помнишь, что и тебя так же спасли?

Кот тем временем тщательно обнюхал малыша, лизнул в морду. Теленок, покачиваясь, с трудом встал на широко расставленные, вихляющиеся ножки-ходули и, вытаращив громадные глаза, потянулся к «родителю». Лютый, как бы соглашаясь на покровительство, принялся вылизывать его белоснежную шерсть шершавой теркой языка.

В скиту отнеслись к появлению необычного лосенка по-разному. Кто-то настороженно, кто-то спокойно. А вот Любаша с радостью: она увидела в нем беспомощное дитя, нуждающееся в ее заботе.

Люди, живущие в тайге, волей-неволей относятся к ее обитателям почти как к домашним животным. И не удивительно, что время от времени то в одном, то в другом дворе нет-нет да появлялись осиротевшие барсучата, лисята, медвежата, зайчата или же покалеченные взрослые звери. И это было обыденно. Сама жизнь побуждала людей бережно относиться к обитателям тайги. Скитники и охотились-то только тогда, когда возникала необходимость в мясе, и то с дозволения Маркела. А в посты, а это немалый срок, зверей и дичь вообще не промышляли, поскольку ничего скоромного, то есть животного происхождения, употреблять в пищу в эту пору нельзя.

Окрепнув или залечив раны, питомцы уходили. На смену им в скиту с удивительным постоянством, как будто по чьей-то воле, появлялись новые зверушки. Но белых лосят досель не видывал никто даже из стариков.

– Выродок! Как бы беды не навлек, – ворчали некоторые из них.

Корней с Любашей этим высказываниям не придавали значения, полагая, что никакого греха в цвете шерсти нет – грешно бросать беспомощную тварь в тайге.

Дети с удовольствием нянчились с малышом, однако, когда на дворе появлялся Лютый, лосенок неизменно отдавал предпочтение коту. Снежок так и считал его своим родителем, и пока «папаша» был рядом, ни на кого не обращал внимания. Кот тоже любил лосенка и по-отечески опекал его.

В разгар лета, возвращаясь домой с полными туесами жимолости, притомившиеся Корней с братишками и соседским Матвейкой прилегли на полянке в тени березы. В ее вершине громко ворковал серо-сизый с зеленой шейкой вяхирь, в высокой траве без умолку стрекотали кузнечики, вдали беззаботно прокуковала кукушка, повсюду весело щебетали различные пташки, над пахучим донником и медуницей со счастливым гулом вились пчелы. Снежок пасся рядом, пощипывая мягкими губами сочную траву. Мальчишки задремали, а Корней, лежа на спине, раскинул руки и жевал дикий чеснок, наблюдая за плывущими по голубому океану пухлявыми клубами облаков, парящим беркутом.

Вот он, опускаясь, закружил над гарью, поросшей багульником. Круги стягивались все туже и туже. В решительный миг птица, сложив крылья, камнем упала в кусты и почти сразу взлетела. Мерно взмахивая крыльями, она набирала высоту с зайцем в когтях.

Провожая пернатого налетчика взглядом, Корней приподнялся и от изумления раскрыл рот: неподалеку от голенастого лосенка смирно сидел здоровенный волчище. Хищник, встретившись с взглядом человека, не проявил ни тени беспокойства и продолжал с любопытством разглядывать теперь их обоих поочередно.

– Ну вот! Пророчили, что белый лосенок к беде, а он наоборот, даже серого приручил!

От этой мысли Корней тихо засмеялся. Простодушный лосенок недоуменно закрутил большими ушами и доверчиво глядел темно-синими глазами, окаймленными длинными ресницами, то на волка, то на человека. Серый, словно смутившись от его наивности, не спеша поднялся и, не оглядываясь, удалился.

На третье лето подкармливаемый всеми Снежок превратился в могучего великана: горбоносая голова на мощной шее, широкая грудь, длинные мускулистые ноги с крупными и острыми копытами, белая шерсть, слегка сероватая в паху. Его красота вызывала у всех восхищение.

Пасся лось обычно неподалеку от скита, а зимой в сильные морозы и вовсе приходил ночевать в клеть, где специально для него держали душистое сено. Даже старики пообвыклись и больше не ворчали на белоснежного красавца. А после того как Снежок, используя свою недюжинную силу, перетаскал на волокуше изрядное число ошкуренных бревен для постройки дома оженившемуся Матвейке, и вовсе зауважали его.

Исподволь Снежок стал для скитников незаменимым помощником. Любаша возила на нем стирать корзины белья. Ольга, обнаружившая в дальних заводях богатые заросли сусака, собирала там корни для всей общины и, навьючив на лося полные торбы, доставляла их прямо к крыльцу. Елисей на санях, запряженных Снежком, вывозил из тайги дрова. А Корней вообще разъезжал на друге, как на лошади. Что любопытно, работы по хозяйству лось выполнял с явным удовольствием.

Когда, одаренный превосходным слухом, лось улавливал призывное улюлюканье или свист приятеля, он иноходью бросался на зов, не разбирая дороги, тараня грудью подлесок, с легкостью перемахивая через завалы. Как только он подбегал, Корней запрыгивал на спину непревзойденного таежного вездехода, и, разыскав вместе с ним Лютого, они всей компанией бродяжничали по лесу, где заблагорассудится. Со стороны троица выглядела весьма колоритно: впереди свирепого вида рысь, следом огромный белый лось с черноголовым наездником!

Иногда Корней ласково поглаживал шею горбоносого друга, почесывал за ушами. В такие минуты Снежок замирал, и его мягкая губа расквашенно отвисала от удовольствия. Он готов был часами стоять так, не шевелясь, лишь бы не прекращалось это необыкновенное блаженство, но наездник уже шлепал ладонью по крупу, требуя догнать кота.

Летом перед заходом солнца, когда спадал и овод, и жара, друзья обычно спускались к глубокому плесу, где купались до изнеможения. Снежок научился плотно прижимать уши и нырял не хуже Корнея. Один Лютый только делал вид, что купается: зайдет в воду по колено и бродит потихоньку вдоль берега.

Постоянное общение с лесными приятелями развило у Корнея способность по выражению глаз, морды, движению ушей, хвоста, повороту головы, скрытому напряжению и еще чему-то трудно объяснимому улавливать чувства и желания не только Лютого и Снежка, но и других зверей. В его голове все эти мелкие штришки складывались в понятные по смыслу «фразы». Иной раз Корнею даже удавалось переговариваться со зверьем взглядами. Поглядели друг другу в глаза – и всё стало понятно.

Каждый год с наступлением темных августовских ночей, когда звездам на небосводе нет числа, по холмам Впадины то здесь, то там раздавался отрывистый, низкий рев рогачей, рыскающих по тайге в поисках невест, застенчиво прячущихся в глухомани и выдающих себя нежным пофыркиванием.

Как-то молодой скитник, колотивший в эту пору кедровые шишки, возвращался домой. День уже покинул Впадину и напоминал о себе лишь багровым отсветом на западе. С лесистого склона соседнего холма временами доносилось страстное мычание быка. Наконец на его вызов снизу откликнулся второй. Корней сразу признал его по голосу – Снежок!

Бесшумно ступая, скитник направился к месту предполагаемой встречи соперников. Действительно, вскоре послышался стук рогов, яростное всхрапывание. Следом затрещали ветки. Треск приближался. Вскоре мимо Корнея по тропе пробежал, мотая серьгой[[3]](#footnote-3)\*, незнакомый взмыленный сохатый. Похоже, бились быки крепко: у посрамленного бойца на месте правого рога-лопаты торчал лишь короткий пенек.

Подойдя к месту побоища, Корней увидел стоящего на вытоптанной полянке Снежка. Он торжествующе взирал на мир и имел необычайно гордый вид оттого, что есть свидетельница его триумфа – стройная важенка. Она тихонько приближалась к нему. Снежок нетерпеливо хоркнул. Важенка тут же отозвалась нежным мычанием. Прильнув друг к другу, они принялись миловаться: ласково покусывать друг друга за уши, за холку, тереться скулами и… улыбаться. От избытка чувств лось водрузил массивную голову на шею трепещущей от волнения подруги. Снежок ощутил, как под бархатистой шкуркой пульсирует горячая кровь избранницы. Ее тепло переливалось в сердце кавалера, наполняя его блаженством. Они были счастливы и не замечали ничего вокруг. Это были сладчайшие минуты в их жизни!

Корней осторожно, чтобы не потревожить влюбленных, удалился.

**Светлана Чураева**

**Главы из повести «Ниже неба»**

**Село Кугуль 1887-1894.**

Много-много торопливых слов – они помогают от страха. От страха перед неведомым потусторонним миром, куда открывают дорогу рождение или смерть.

Много тихих священных слов вокруг тёплого куска мяса, только что рождённого женщиной.

Его обмыли согретой водой.

Завернули в белое полотно.

И похоронили в сорока шагах от дома. Глубоко, чтобы не достали собаки.

Глубоко схоронили послед, вернув в неведомый потусторонний мир.

А человек остался. Его обмыли согретой водой и завернули в белое полотно.

Он отдыхает после трудных родов. Ему было тяжелее, чем матери, но не так страшно. Ведь он не знает пока, что такое страх.

Совсем недавно он был один, как бог.

Потом он был вместе с матерью. Она очень мешала ему. Ела жирное, таскала тяжёлое, стирала, хворала и кричала пронзительно на гусей. Ему было плохо от неудобной матери, не хватало воздуха, и он тосковал. Хотел быть один. Как бог – весь мир заключая в себе.

Потом, недолго, он был совсем один - ни мира, ни матери не было с ним. И две старухи - свидетели его одиночества помогли ему родиться на свет.

А потом началось долгое одиночество – обычное человеческое. Беспокойное, без той вечности, что не делится на минуты и дни. Началась суета – память о прошлом да мечты о будущем, в сущности, - ничто. Ничто, если миг между памятью и мечтой не удаётся наполнить жизнью.

Пока он отдыхает, и две старухи, что помогли ему родиться на свет, отдыхают тоже. Мать спит, а повитуха пьёт холодный айран. Она привязала младенца за руку ниткой, чтобы он не умер, и пьёт айран, полоща прохладой сиротливые дёсны.

Повитуха назвала чернявого мальчика Балакарга– да не позарятся злые духи! И все называли его так сорок дней.

Под этим именем ребёнка показали женщинам, на третий день после родов.

Воронёнок, фуй, - простодушно плевались женщины. – Фуй, какой некрасивый и чёрный! И когда это вороны успели принести его?

Действительно, когда? – как будто удивлялась мать. Она тревожно осматривалась: всем ли хватит еды? И потчевала гостий. И злым духам положила несколько творожных колобков с ягодами. Отличных колобков из высушенного сладкого творога и топлёного масла, с черёмухой,  с вишней – таким угощением не обидишь, от него подобреет всякий, даже бире.

И женщины подобрели тоже, не плевались больше на мальчика. Сидели чинно на мягких подушках, разговаривали медленно, лениво – куда торопиться? Они пришли по делу – пить чай в честь младенца.  Сидели, поблёскивали тусклыми маслеными кругляшками монист, старательно жевали солёные пластинки поджаренного сушёного мяса, шумно запивали жирным горячим чаем. «Пусть ему всегда будет сытно, как нам сейчас, - приговаривали они. – Пусть сладко ему будет, как нам от этого мёда». Куда торопиться? У мальчика впереди ещё целая жизнь.

Пусть она будет длинной, как девять раз по девять мотков этих ниток, - загадывала мать, подавая на прощанье каждой из женщин моток напряденной за долгие месяцы пряжи – «нитки младенца».

Да хранит его твоя любовь, - отвечали ей.

Да хранит его любовь Аллаха, - говорили мужчины на сороковой день после родов. Шутка ли – наречь младенца перед Господом! Только мужчин можно звать на столь непростое дело. Они степенно вкушали угощение по поводу наречения ребёнка. Ели варёную колбасу, мясо, хлебали густой мясной суп.

Шептали молитвы. Много-много торопливых священных слов – они помогают от страха. Ведь никто не знает, что происходит в мире, когда человеку даётся имя.

Мулла наклонился к нему и три раза прошептал на ухо: «Пусть имя твоё будет Касим». Имя твоё… Пусть будет.

Касим, сын Салигаскара, родился художником. Он долго не знал об этом, пока ему не сказал отец. Отец так и воскликнул по-русски: «Художник!», когда Касим разрисовал ягодным соком себя и сестёр. На руках он нарисовал перья, и Касим, Бахрамхаят, Котлозаман бегали по лугу, крича, как птицы. Ветер подхватывал их, и они вот-вот полетели бы, если бы отец не поймал всех троих.

Это детское чувство – мгновение до полёта – обычно первое, что помнит человек о себе.

Мой дедушка запомнил почти такой же полёт. То же небо, праздничное, ветреное, весеннее. Те же короткотравые луга. Его, четырёхлетнего, посадили на лошадь, и он летел, крепко подхваченный сладким ужасом, летел… Сначала – вцепившись в короткую уздечку, потом – через голову лошади. Потом лежал на спине и продолжал лететь, потому что ничего, кроме неба не было перед ним. А лошадь стояла рядом и виновато обнюхивала упавшего малыша.

И через сорок, и через пятьдесят, и через восемьдесят лет, рассказывая об этом, дедушка не переставал удивляться: как лошадь не наступила на него, как остановилась сразу и ждала бегущих к ним испуганных взрослых? Мой старый дедушка удивлялся восхищённо уму благородного животного, а тогда, малышом, он не удивился вовсе. Лежал на траве, счастливый, и летел, летел…Это было всего километрах в пятидесяти от Кугуля, в деревне Карача-Елга, где родился мой дед.

Меньше дня пути, чуть больше двух десятков лет отделяет полёт одного мальчика от полёта другого. Из нашего «сегодня», с расстояния в век, два близких воспоминания сливаются в одно – небо, ветер, луга, полёт. Детство человека, жившего сто лет назад, ранние мгновения жизни человека уже умершего.

Всего сто лет - а люди уже по-другому видят мир вокруг себя. По-другому видят себя в мире.

Изменилась обыденность, но всегда у человека будут праздники. И как бы не менялись люди, они всегда будут встречать приход весны. И всегда действо это будет связано с женщиной. Приветствие начала жизни, праздник ожидания лучшего – волшебство.

Каргатуй – «праздник птиц». Древний - наверное, он был у башкир всегда, ещё с тех детских пор, когда время не измеряли числами.

Когда день и ночь сменяли друг друга, и кончалась, наконец, зима. Стаивал снег, нежаркое солнце согревало землю и укутывало её новенькой не запыленной травой. И женщины, встречаясь друг с другом, смотрели на солнечное небо и говорили: «Хорошо! Птицы прилетели, не пора ли нам отметить Каргатуй?».

Старейшие жительницы селения собирались на припёке и назначали день праздника. Выбирали барашка, собирали со всех муку, соль – всё необходимое для бишбармака. Открывались сундуки с нарядами, проветривались яркие тяжёлые платья и юбки, притихшие мужчины почтительно смотрели на весёлых от весеннего ветра жён.

В этот день мужчинам полагалось выполнять всю домашнюю работу. Пока хозяйка умывалась, наряжалась, хозяин запрягал лошадь и укладывал в телегу все приготовленные заранее продукты: сдобный баурсак, чашку топлёного масла, туесок с катышками корота, челяк с кумысом или ведро густого катыка. Туда же укладывались скатерть, полотенца, деревянные чашки. Когда всё было готово, муж почтительно усаживал супругу в телегу, подавал ей вожжи и открывал ворота. Ребятишки занимали места позади матери – и в путь!

Одна за другой выезжали подводы на зелёную улицу и караваном, не спеша, отправлялись в степь. Мужчин не брали в степь, ведь в каргатуе было древнее волшебство. Древняя магия битв жизни против смерти была в плясках и хохоте, сказках и состязаньях, в безудержном беге малышей по холмам. Малышей, призывающих в помощь птиц.

Мужчины - их, взрослых, не брали на продолжения вечных безвременных битв. Оставляли у ворот. Но они смотрели на весеннее небо и знали, что – праздник.

Праздник!

Сотни лет человек ползал по земле: и так и эдак крутился, чтобы было ему на этой земле удобно. Ползал, мир пропуская через живот. С тех пор, когда живот полон,  внутри человека мир.

Человек ползал по земле и ел землю, и уходил в землю…

Но всегда в нём жило небо.

Человек крутился, так и эдак, и невзначай задевал желудком о небо в себе. И небо начинало звенеть, и небо начинало расти, и вырывалось из горла песней, из сердца - счастьем, из чресел - детьми. Небо. Оно сворачивалось в бутон и возвращалось в глаза красотой.

Когда человек задевал желудком о небо, он вдруг замечал, как красив сам, и как красиво всё вокруг. Когда человек задевал желудком о небо, начинался праздник.

Такой, как этот карга-туй. Когда небо выплеснулось так, что нечаянно залило мир.

Оно зеленью качалось в карих глазах пляшущих дев. Оно кипело в котлах и вырывалось кумысом из челяков. Оно забирало кататься на себе детей, которые, ещё умели кричать по-птичьи. И птичьим гомоном трепетало небо. «Праздник птиц».

Небо было везде, только мать Касима не задевало оно, и не было его в ней.

Мать сидела на земле, на войлочной подстилке. В её котле варилось мясо, её глаза были так узки, что небо не попадало в них. Для мамы праздник был как обычный день. Она кормила людей.

А небо ветром слезило глаза, обещая радость. Такую радость, что и представить нельзя, а можно только разрыдаться вдруг, выталкивая копоть из себя. Плакать, чувствуя только небо внутри и неведомое счастье впереди.

Весеннее небо обещало счастье, но мать не верила ему. Может быть, знала, что за весной придёт лето. Что за голубой сулящей весной 1891 года придёт белое солнце. Засуха. И не останется слёз - ни на радость, ни на горе.

Мать знала, что когда хочешь счастья так сильно, что ждёшь его уже завтра, послезавтра приходит беда. И ты падаешь лицом в землю, и разбиваешь своё небо об камни. И когда всё-таки приходит счастье, ты не можешь поднять на него глаз.

Касиму до беды оставалось три года. А до лета была ещё вся весна.

**Светлана Чураева**

**Как я провёл лето**

Однажды мы с другом Максом махнули в Америку – убивать президента Рейгана. Взяли все сбережения, пачку печения, фляжки с водой, спички, компас и, конечно, ножи. Мы знали, если двигаться всё время на запад, обязательно приедешь в Америку. Главное – переплыть Атлантический океан. Пока купили в кассе билеты и сели в электричку «Уфа – Чишмы».

Погода стояла отличная – солнечно, но не жарко, мы были уверены в успехе своего предприятия и наслаждались дорогой. Смотрели в окно – главное развлечение в электричке, всегда увидишь что-нибудь необычное.

В Юматово мы увидели дядьку, который страшно спешил. Ему, видно, позарез надо было попасть именно в наш поезд. За ним бежали другие, и даже один мужчина мчался на лошади, но первый дядька явно шёл на рекорд. Выпучив глаза, он уже взбирался на насыпь, когда электричка дёрнулась. Дядька поднажал, хрипя, вылез на перрон, ему оставалось сделать последний рывок…

– Не успеет, – сказал сочувственно Макс.

Мы бросились в тамбур, высунулись из дверей и давай махать руками и ногами, словно этот дядька нам родственник. Просто нам его жалко стало – он всех обогнал, такой молодец, а, получается, зря.

Машинист, наверное, рассердился ужасно – у него расписание, а тут два пацана машут, не дают двери закрыть.

И дядька успел! Ему тех секунд, на которые мы задержали состав, хватило, чтоб запрыгнуть в вагон.

Сначала он просто дышал тяжело, красный, как после бани, – и всё равно пытался нам улыбнуться. Мы тоже ему улыбались: мол, всё хорошо, едем.

– У вас гипервентиляция лёгких, – объяснил Макс со знанием дела, у него мама – медик.

– Факт, – согласился дядька. Он уже почти отдышался, мы вместе пошли, сели у окна.

Дядька держал в руках школьный ранец – смешно, взрослый человек, а носит ранец в каникулы.

– Ну, спасибо, братцы! – он пожал руку сначала мне, потом – Максу. – Выручили. А то бы – во! – дядька полоснул пальцем по шее, показав, насколько ему важно было уехать.

Мы понимающе покивали.

Спросил вежливо:

– Куда путь держим?

– В Америку.

– Ба! Знатно. К родне или так, погулять?

Нам скрывать было нечего, мы признались:

– Хотим убить Рейгана.

– Дело благородное.

И настолько хорошо он это сказал! Без подтекста, без издёвки внутренней: знаете, иногда взрослые поддакнут, а сами закатят глаза, будто перед ними дебилы. В театре бывает такая же глупость – кривляются в зал, мигают, бровями на других актёров поводят, типа те дурачки, а мы-то с вами – хо-хо… Противно.

А наш дядька правильно понял: нормальные люди едут по делу.

– Только до Америки трудновато добраться.

Понимаем, не детсадники. Объяснили:

– Ну, пока до Чишмов, потом будет видно.

Слово за слово, завязалась беседа.

– Э-эх! – хлопнул по ранцу дядька. – И мне бы в Америку! Завидую я вам, братцы, зверски завидую!.. – И зажмурился, глядя на что-то за окном, красивое до невозможности.

Взрослым, конечно, некогда путешествовать. Но мы предложили:

– Давайте с нами! – Может, он пенсионер или в отпуске.

– Действительно! Почему бы и нет? Я ведь могу пригодиться.

Не случайно он нам сразу понравился!

– На границе, объясняться с таможней, – оценил возможности Макс. – И тому подобное?

– Вот именно.

«И тому подобного» долго ждать не пришлось – вскоре в вагон милиционеры зашли. Двое. Такие строгие, по сторонам внимательно смотрят. Нам-то вроде бояться незачем, билеты мы честно купили, родителям записки оставили, но кто их, милицию, знает…

Новый знакомый нас не подвёл. На вопрос: «Ваши дети?», не моргнув, ответил:

– Мои.

И приобнял Макса за плечи. Сидим мы втроём, довольные, ясно – стопроцентно чисты.

– Далеко собрались?

– До Пионерской. Сад у нас там.

Неприятно, когда врут без зазрения совести, но дядька врал весело, вроде понарошку.

И мы поддержали игру.

– Сад, речка, пляж! – выдал радостно Макс.

Милиционеры похмурились и отправились дальше.

– Знаете, братцы, я в тамбуре покурю, – сказал наш новый товарищ. – Вы ни с места?

– Ни с места!

Я голову в окно высунул и ветер глотал, очень вкусно. Правда, немного беспокоиться начал – оказывается, со взрослым человеком рядом спокойнее, когда едешь на важное дело.

Тем более, к Пионерской подъехали. Неловко – вдруг милиционеры обратно пройдут, а мы по-прежнему здесь… Смотрю – что такое? – опять два милиционера! Уже другие. Торопятся. Прыгают к нам.

И, точно, прицепились немедленно:

– Здорово, ребятки! Как вас зовут?

Мы представились. Они заявили:

– Идёмте-ка с нами!

– Нет, нам дальше надо.

– Ещё чего! – один милиционер схватил меня за руку, второй – Макса. – Родители с ума сходят, а они, вишь, катаются!

И ранец взяли. Кричу:

– Эй! Это не наш, за ним хозяин придёт!

Они вообще не слушают. Катастрофа и произвол.

Вывели нас из вагона, посадили в машину:

– Ну, что, сенкевичи, едем обратно!

В милицейской машине мы раньше не катались. Между прочим, неплохо. На кочках прыгали, хохотали.

А в Уфе нам опять испортили настроение. Мамы плачут, моя меня тискает, мама Макса ругается. Даже ударила сына! А то, что у мужчин могли быть дела мирового значения, им по барабану.

– Только, – я спохватился, – обязательно надо ранец отдать хорошему человеку. Не знаю, как вы искать его теперь будете.

– Он разве не ваш?

– Нет, – ответила мама Макса.

И моя подтвердила:

– Не наш.

А нам не верили!

Вот что: в ранце оказалось огромное количество денег. Просто куча! Выяснилось, что в «Юматово», в санатории, главный бухгалтер забрал зачем-то все деньги и убежал. Решил на электричках удрать.

– А с виду приличный крендель, – расстроился Макс.

Я же ничуточки не огорчился – такая уймища денег! Здорово! Я никогда столько не видел! Что же касается вора, по-моему, он не плохой. Мало ли, может быть, у него – тоже важная цель. Или мечта.

– Не знаю, то ли на учёт вас поставить, то ли представить к награде, – спросил начальник милиции, когда мы зашли к нему в кабинет.

– Куда на учёт? Они же совсем малыши! – крикнула мама Макса.

Макс сказал:

– Представить к награде.

И нам дали премию.

Теперь мне осталось записать эту историю, и можно идти на улицу. Погуляем там с Максом, пока нет зимы. Ну, вы понимаете – ядерной. Пока Рейган не начал войну.

**Денис Лапицкий**

**Двое в ночи**

**Рассказ**

…Свистит паровоз, старые вагоны вздрагивают, грохочут массивные замки сцепов – поезд замедляет ход.

– Ну, вот ты и почти уже дома, парень. Удачи тебе, – рослый солдат в застиранной гимнастерке хлопает его по плечу. – Только на станции не торчи – дуй домой поскорее. Мать-то заждалась, поди…

Он кивает, улыбаясь, – говорить ему все еще очень сложно.

– Погоди, – с дощатых нар осторожно, оберегая раненую руку, спускается еще один солдат – с загорелым, обветренным, изборожденным глубокими морщинами лицом. Протягивает парню кисет. – Забыл.

Он отмахивается – мол, оставьте себе, я же не курю…

– Ты не маши, – солдат хмурит брови, под которыми на мгновение прячутся добрые глаза. – Возьми, раз говорят. Мало ли – попадется в дороге хороший человек, угостишь табачком…

Пожав плечами – как с вами спорить? – он берет кисет, подхватывает с щелястого пола тощий вещмешок.

Наконец, поезд останавливается.

Он улыбается, жмет на прощание всем руки и легко спрыгивает из вагона, навсегда расставаясь со своими кратковременными попутчиками – ранеными солдатами, отправляющимися на побывку домой.

– В рубашке парень родился, – негромко говорит загорелый.

Слова будто повисают в воздухе – и каждый из находящихся в вагоне с ними согласен в душе.

Свисток, шипение, грохот сцепов – краткая остановка завершилась, поезд трогается, затерянный в степи полустанок уплывает назад…

**\* \* \***

…Где-то далеко на западе грохочет война, небо затянуто черно-красным дымом пожарищ, разрывы снарядов перепахивают истерзанную землю. А здесь, в бескрайней башкирской степи, напоенной запахами разогретой на солнце земли и высоченных степных трав, – тишина.

Кисет с табаком и впрямь пригодился – он отдал его водителю попутки, подбросившей его от полустанка до развилки дорог. Машина ушла влево, а его путь лежал прямо.

Он стягивает сапоги. Ноги утопают в теплой тонкой пыли – совсем как в детстве, когда он с друзьями как угорелый бежал по дороге вслед за первыми колхозными тракторами и полуторками. Как давно это было…

Под вечер, когда солнце заваливается на запад, степь, придавленная дневной жарой, понемногу оживает. Слышна перекличка немногочисленных птиц, шуршат в траве мыши, с басовитым гудением пролетают тяжелые, как пули, жуки, и даже степное разнотравье начинает шуметь под прикосновениями пробудившегося ветерка.

Он идет по извилистой дороге вдоль глубокой колеи, оставленной колесами полуторок и телег, а далеко впереди горит багрянцем закат. Кажется, что дорога вонзается прямо в багровеющее вечернее солнце, – а за спиной небо наливается бархатистой темнотой, во множестве мест проколотой серебряными искрами звезд, и плывет среди них призрачным корабликом молодой месяц.

От полустанка до родной деревни несколько часов ходу. Но он идет радостно – ноги не устают, когда держишь путь домой. Да и армия привила ему привычку к долгим пешим переходам – в стужу, в дождь, в летний зной…

…Против воли вспоминается другой день. Жаркий. Страшный…

Как он полз среди воронок, захлебываясь кровью, как его забросил в лодку раненый солдат-украинец – а сам так и остался лежать на берегу, потому что спину ему разорвала пулеметная очередь, как на другом берегу его подобрал невесть откуда взявшийся старик, как трясло на ухабах телегу…

Как он, бессильно плача от боли и страха, выковыривал изо рта липкие черные сгустки заливающей горло крови – и боялся потерять сознание, потому что тогда все, конец. Как крошились сжимаемые зубы, как выгибалось раненое, терзаемой болью тело, как странно выглядели черные дорожки крови на его белых, словно присыпанных мукой руках – только не мука это была, а дорожная пыль, толстым слоем оседавшая повсюду… И как старик что-то кричал ему, а он уже ничего не слышал из-за звона в ушах.

А потом был полевой госпиталь, и загрубевшие, но все равно ласковые руки русской женщины-врача стирали с его лица страшную маску из крови и пыли, и повязки быстро краснели, набухая кровью, и кто-то просто и жутко сказал в сторону: «Не жилец»…

Он потряс головой, отгоняя воспоминания, коснулся пальцами страшного шрама на шее.

Солнце уже зашло. Но это его вовсе не беспокоило – дорогу домой он мог найти и в полной темноте. Сейчас между ним и окраиной деревни, где находился его дом, оставалось лишь пшеничное поле. Он шел по его кромке, ноги несли все быстрее – он уже видел теплящиеся в ночи огоньки окон. И ближе всех – родное окно, окошко их дома, стоящего на отшибе. Что-то сейчас делает мама?

Он машинально сорвал незрелый колос, растер в ладонях, забросил в рот молодые зерна.

Вот он и дома…

Перемахнул через невысокую ограду, ветром пронесся между грядок, распахнул никогда не запиравшуюся внешнюю дверь, двумя шагами пересек сени… и остановился. Из-за двери доносилось металлическое постукивание, скрип песка, иногда плескалась вода – похоже, мама чистила чугунок. Он поправил ворот, натянул сапоги, пригладил волосы и только потом осторожно постучался.

В комнате сразу стало тихо. Потом послышались торопливые шаги.

– Кто там?

Он сглотнул горячий шершавый комок. В горле мгновенно пересохло, словно туда сыпанули сухой дорожной пыли.

– Мама… это я…

Голос был хриплым, чужим.

За дверью послышался придушенный вскрик – так бывает, когда человек прикрывает себе рот ладонью, испугавшись чего-то.

– Мама… открой, это я!

Шорох – словно она оседает на пол.

– Мама? Это я, твой сын!

Короткое позвякивание – она берется за щеколду и вдруг отдергивает пальцы, словно обжегшись.

– Сын? – слышится из-за двери. – Мой сын погиб…

– Нет, мама, я не умер! – хрипит он, превозмогая боль в горле. – Я живой, я вернулся…

– Похоронка пришла месяц назад, почтальон прочитала – сказала, сын погиб смертью храбрых…

– Да нет же! – вскрикивает он и закашливается – в едва зажившем горле дерет, словно наждаком. – Это ошибка, ошибка, мама! Я твой сын, я вернулся! Открой же!

Он дергает дверь – и тут же за ручку тянут изнутри.

– Уйди! – стонет мать. – Ты не мой сын, мой сын погиб… Ты гуль, ты дух, и если я впущу тебя, душа моего сына никогда не обретет покоя!

Он замирает, потрясенный. Он знает это древнее поверье – если в ночи придет давно сгинувший человек, то его нельзя впускать в дом, будь то хоть самый близкий твой родич, ибо это может оказаться не человек вовсе, а гуль. И если отворить ему, если впустить под крышу, то душа человечья погибнет. Как бы ни было больно, как бы ни хотелось распахнуть двери, нужно молиться Создателю, молиться и ждать – ждать восхода вечного солнца. А там – как повернется. Если растает ночной гость в солнечных лучах, значит, не зря ты держал дверь на запоре, а уж коли окажется человеком – отворяй без страха да радуйся встрече…

– Мама… – дрожащие губы слушаются с трудом.

– О Аллах, всемилостивейший и милосердный, – быстро шепчет она за дверью, – ты забрал у меня мужа, ты забрал у меня сына, и тебе больше некого у меня забрать… Так хотя бы дай же ему покой!

Он лихорадочно соображает.

– Сейчас я подойду к окну – ты посмотришь и увидишь, что это я! – наконец находит он решение.

– Не-е-ет! – слышно, как она бросается к окну, задергивая старенькие шторы; что-то грохочет, катясь по полу, – возможно, тот самый чугунок, что она начищала. – Что тебе стоит принять облик моего сыночка? Молю, оставь меня!

Она бессильно плачет, подвывая.

– О Аллах, за что мне такие муки? Я все потеряла, я осталась одна, мне незачем жить, – забери мою душу, но не губи душу моего сына!

– Нет, мама, нет! – хрипит он, ударяя кулаком в дверь. – Это же я!

Он сползает по двери, кривя рот в беззвучном плаче, скребя пальцами неподатливое дерево.

Мама вновь бросается к двери.

– Сыночек, милый мой, ненаглядный, кровинка моя, – слышится сквозь рыдания, – если это и в самом деле ты – подожди до утра, подожди, пока не пропоют петухи, пока не взойдет солнце…

– Мама…

– Подожди до утра, – горячо шепчет она, заливаясь слезами, – пусть я буду всю жизнь перед тобой виноватая, пусть ты больше никогда не назовешь меня матерью за то, что я не узнала тебя, за то, что я не поверила тебе, – но только подожди, подожди…

Он молчит, он кивает, словно она может видеть его через толстые доски.

– Хорошо, мама, я подожду… Только ты не плачь, пожалуйста…

Он садится, прислоняясь спиной к двери, – не зная, что она сейчас сидит точно так же и что странный торопливый перестук, который безотчетно ловит его обострившийся до предела слух, – это биение ее сердца, сердца самого родного ему человека, женщины, давшей ему жизнь.

Медленно ползут минуты. Пахнет пылью и старой соломой. Слышно, как под полом тихонечко шуршат мышки. Серебристый луч лунного света, пробивающийся через щель над внешней дверью, медленно ползет по стене, отблескивает на кривом лезвии лежащего на скамье серпа. Он протягивает руку – прямо возле двери стоит небольшая кадушка с водой, на крышке лежит все тот же потемневший деревянный ковшик. Кадушку и ковшик много лет назад, незадолго до своей смерти, сделал его отец – сделал для него, для любимого сына, и поставил в сенях, чтобы он мог напиться воды, не забегая домой. Ему не было тогда и десяти лет, но он хорошо помнит, как причитали женщины и как мать, глядя куда-то вдаль поверх людских голов, стояла рядом с телом отца, которого свела в могилу болезнь, как дрожали слезинки в темных глазах, как загрубевшие руки мяли платок… Тогда он подошел к ней и прижался так сильно, как только мог прижаться маленький мальчик, и под плотно стиснутыми веками было горячо, и сердце колотилось в горле…

Зачерпнув ковшиком воды, он сделал несколько глотков.

– Я всего на несколько дней приехал. После госпиталя домой на побывку отпустили… Меня не сильно ранили, – спохватывается он, – все уже зажило. Просто говорить пока немножко трудно…

Она молчит – но он понимает, что мама ловит каждое его слово и что она благодарна за то, что он говорит, – потому что сидеть в тишине и ждать просто невыносимо. Ждать тяжело, особенно когда больше всего хочется поверить в то, что за дверью и в самом деле ее сын, а не бесплотный дух, когда хочется скинуть щеколду и распахнуть дверь…

– Я подожду, мама, – говорит он. – Скоро уже утро…

Медленно ползут минуты. Луч лунного света, проделав томительно-долгое путешествие по стене, исчез – луна скрылась за облаками. Но даже в царящей темноте он различает окружающие предметы, все, что ему так хорошо знакомо. Словно ничего и не изменилось с тех пор, когда он ушел на фронт.

– А немца мы скоро обратно погоним – так наш командир сказал. Как дойдем до Берлина – так и война кончится… Славная жизнь тогда настанет, – говорит он.

Он говорит и говорит. Это больно, в горле першит, приходится время от времени делать глоток воды из ковшика, – но каждое его слово не дает оборваться той тоненькой ниточке, которая связывает их сейчас. Его слова – будто огонек свечи в непроглядной темноте, к которому с разных сторон протягивают руки два человека…

Медленно ползут минуты.

За дверью слышится шорох, снова звякает щеколда… Он вздрагивает, понимая, что она хочет сделать.

– Нет, мама, нет! – он вскакивает и наваливается на дверь, не давая матери открыть ее. – Подожди, не надо! Утро совсем скоро!

Она снова опускается на пол – он слышит, как шуршит ткань ее одежды. Еще она беззвучно плачет – об этом он догадывается по тому, как чуть заметно подрагивают доски двери.

– Не плачь, мама, – мягко говорит он. – Не плачь…

– Сынок, прости меня, – всхлипывает она. – Я верю, что это ты, но…

– Не плачь, мама… все будет хорошо. Утро совсем скоро…

Медленно ползут минуты.

Он говорит – негромко, пересиливая боль в горле. Говорит обо всем, что только взбредет в голову, – чем кормили в госпитале, как тяжело копать окоп в глинистой земле, как шипят в снегу винтовочные гильзы… Она слушает, чутко ловя каждое его слово.

Небо на востоке алеет, заливается светом, первые лучи солнца золотят верхушки деревьев.

Ночь прошла.

– Сынок…

Тишина за дверью.

Нет, этого не может быть.

Только не это…

Нет…

– Сынок?

– Мама!

Звякает щеколда, дверь скрипит, открываясь.

– Сынок!

– Мама…

**P.S. Рассказ основан на реальных событиях.**

**Вадим Богданов**

**Где ходят электрички**

**Рассказ**

– Деда, а когда война кончится?

– Когда электрички пойдут, тогда и кончится.

Миколка осторожно примостил больную ногу на укрытый фуфайкой чурбачок и, не отрываясь, смотрит в кривое окошко. В окне нет ничего, кроме ночной черноты, пятна свечки да ломаного отражения Ивана Палыча. Миколка называет его дедом.

– Деда, а расскажи ещё про поезда… страшное.

– Страшное? Мало тебе вокруг страшного? Не забоишься, как в тот раз?

Миколка всё смотрит в окно. Палыч подкидывает в печку.

– Нет, не забоюсь!

Палыч отряхивает руки.

– Ну, слушай. Бывает так – подходит состав к станции, а у путей стоит человек. Стоит себе, стоит и вдруг когда состав уже совсем близко – раз! – и бросается на рельсы прямо под поезд. Люди говорят – самоубийство – сам, мол, человек решил под поезд прыгнуть, смерть принять. Но те, кто своими глазами видел такое, знают – не сам человек прыгает, а будто что-то затаскивает его на пути, будто всасывает его какая-то сила.

– А что за сила?

– Говорят, ходит по железным дорогам невидимый локомотив. Призрак. Ходит он на огромной скорости и даже на станциях не тормозит. И особенно любит он следовать прямо вплотную перед обычными живыми поездами. Стоят вот люди, ждут свою электричку, и вдруг прямо перед ней проходит через станцию стремительный невидимый поезд-призрак. А за ним возникает воронка воздушная, вихрь – вот в него и засасывает тех, кто близко к путям стоит.

– Деда, а он получается злой? Поезд-призрак?

– Не знаю. Может злой, а может просто равнодушный к нашему миру. Он же призрак.

Миколка отворачивается от окна – о чугун печки бряцнула крышка кастрюльки. Иван Палыч потыкал внутрь ложкой.

– Деда, а когда мама придёт?

– А вот как картошка сварится, так и придёт. Скоро уже.

Мама и правда приходит скоро. Дверь строжки распахивается, в неё врывается холодный ветер и мама.

– Там двое вдоль путей… – дыхание мамы сбивается, – сюда идут.

Палыч быстро откидывает половик, поднимает крышку погребца.

– Быстрее!

Сам хватает Миколку, тот молчит, только морщится от боли в ноге. Мама уже в погребе она принимает сына.

– Тихо…

Погреб закрыт, половик на месте.

Двое выбивают дверь. В руках калаши, на самих чёрная форма с нашивками. Палыча слепит, он прикрывается рукой.

– Горилка е?

Двое наводят быстрый шмон, Палыч стоит у стены. Знаки на нашивках похожи на острые куски разломанных и снова сложенных свастик.

– А це що? Картопля! Ми заберемо, а ти соби ще звариш.

Один раскрывает рюкзак, вываливает в него горячую картошку. Палыч видит в рюкзаке брикеты взрывчатки.

Двое не нашли ничего, что бы им понравилось. За это Палыча бьют в поддых. И ещё…

Мама и Миколка сидят у печки. Подсаживается Палыч.

– Вот, Миколка, хоть сухарик погрызи.

Миколка осторожно берет сухарик. Мама плачет. Палыч трогает её за плечо.

– Уходить вам надо.

– Куда? Вокруг фронт, стреляют, дороги перекрыты. Нас же сразу… Целый день пыталась машину найти… Счастье, что вы приютили.

Миколка протягивает маме корку. Палыч:

– По железке. Железка пустая сейчас. Все шоссе стерегут. Можно проскочить. До Крашино перегон, а там уже наши, и граница рядом. Там прямой до Таганрога ещё ходит. Я слышал.

– Пешком? А Миколка? Куда с его ногой… Не донесу…

Спали тревожно. Утром Палыч вытащил из подпола двустволку, положил перед мамой золотые часы с надписью «Отличному движенцу, изобретателю и рационализатору».

– Еды наменяй. Я вернусь. Ждите.

Домишка путевого обходчика у самого полотна. Палыч смотрит вдоль путей. Контактной сети не осталось, провода срезали на цветмет. Опоры побиты пулями и осколками, где-то повалены. Но полотно пока чистое.

Миколка так все дни и просидел у окошка.

Рано, едва рассвело, маму вдруг выбросило из дрёмы истошным его криком – Мама! Мама!

Мама вскочила, ничего не понимая спросонья – схватила сына в охапку, а он все вопил, вопил и показывал рукой в окно. Наконец, мама разобрала:

– Мама! Война кончилась!

Мама посмотрела в окно – к их ветхому домику подходила электричка. Старый глобус ЭР2 с круглой уютной мордой. За машиниста – Палыч.

– Бегом, бегом! – гнал он своих пассажиров.

– Деда! А война, правда, кончилась?

– Для вас – да!

Это был головной моторный вагон. Двери не закрывались. Стекла выбиты. В стенах пробоины от пуль и осколков. Палыч завёл всех в кабину.

– Сидите здесь. Не болтайтесь. И строго показал на заставленный вагон.

– Аккумуляторные батареи – 3000 вольт, щёлочь.

Электричка пошла. Покачиваясь, перестукивая колёсами, посвистывая ветром в пустых окнах и дверях… Пошла! Мимо поваленных, изрешечённых опор, мимо раненной земли, мимо войны.

Двое в чёрной форме копались у полотна. Разом повернули к поезду очумелые лица, и разом в их отравленные мозги пришла единственная доступная мысль. Оба подняли стволы, закричали что-то от ярости и злости похожее на – Хальт! Стволы плюнули огнём. И вдруг какая-то невидимая сила словно втянула черных на полотно, бросила на рельсы прямо перед накатывающейся неостановимой электричкой.

Двое завопили уже от ужаса, бросили автоматы, кинулись на четвереньках в стороны. Под колёсами заскрежетали стволы и приклады.

И вдруг – взрыв. Вагон тряхнуло, накренило вперёд и вправо. Задняя колёсная пара подпрыгнула как на изломе рельса. Палыч до белых костяшек сжимал кран тормозной магистрали.

Проскочили.

Путь пошёл под уклон, электричка набирала скорость, уходя от черных людей со сломанными свастиками на рукавах.

Палыч неловко обернулся, его мотнуло.

– Двоечники. Заряда пожалели, да ещё на шпалу положили, небось…

Старик стал заваливаться, мама подхватила его, положила на спину. Возле самого ворота на ватнике Палыча зияла махристая дырка.

– Не бойтесь, следуйте спокойно… сколько батарей хватит… километров на двадцать ещё… а там близко… Добежите.

Ткань вокруг дырки начала набухать чернотой.

Кровь унять не смогли. Миколка держал деда за руку, пока электричка не остановилась.

Мать взяла сына на руки. Под взглядом выпуклых фар доброй круглой морды они двинулись по железным путям… Туда, где всегда ходят и будут ходить электрички.

1. \* Поветь – помещение под навесом. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Чага – многолетний лекарственный гриб семейства тутовых. Развивается, как правило, на стволах березы в виде бугристого нароста черного цвета. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Серьга – кожистый вырост под горлом, с кулак величиной, встречается как у лосих, так и у лосей. [↑](#footnote-ref-3)